

В ПЕТЕРБУРГЕ 1863 ГОДА

Среди бумаг редакции «Современника», не привлекавших до сих пор внимания исследователей, сохранились корректурные гранки статьи, озаглавленной «Отрывок из дневника» (ИРЛИ, ф. 628, оп. 2, ед. хр. 189). Гранки чистые, без правки. Подписи нет; как большинство публицистических статей в «Современнике», статья должна была быть напечатанной анонимно. Но имя автора указано в пометке, сделанной рукою неизвестного, вероятно, кого-либо из работников редакции или конторы, на обороте одной из гранок: «Отрывок из дневника *Слепцова*». Как видно из счетов типографии конторе «Современника», статья с таким заглавием и тем же объемом, а именно в полпечатного листа, была набрана для четвертой книжки журнала за 1864 г., но не появилась в печати по обстоятельствам цензурного характера (В. Е в е н ь е в - М а к с и м о в. Последние годы «Современника». 1863 — 1866. Л., 1939, стр. 83).

«Отрывок из дневника» непосредственно связан с прерванным циклом Слепцова «Петербургские заметки». Начальный фрагмент публикуемого ниже текста, озаглавленный автором «Июнь 1863», первоначально составлял одну из частей названного цикла. Она предназначалась для опубликования в седьмой книжке «Современника» за 1863 г., но по цензурным причинам была уже в корректуре изъята оттуда вместе с еще одной частью — рассуждением «Что может быть возвышеннее любви к отечеству?..» (см. об этом на стр. 153 настоящего тома).

В начале 1864 г. Слепцов дополнил «Отрывки из дневника» «записями» за июль, август, сентябрь и октябрь 1863 г. и предпринял попытку опубликовать эти «записи» в качестве самостоятельного фельетона, не связывая его с разрушенным циклом «Петербургские заметки». Но и эта попытка оказалась тщетной. Фельетон не увидел света и лишь сейчас, спустя сто лет после его написания, появляется в печати.

Как упомянуто выше, «записи», входящие в «Отрывок из дневника», помечены «датами»: с *июня по октябрь 1863 г.* Это было трудное для русской революционной демократии время — время упадка освободительного движения в стране, связанного с крахом надежд на близкое крестьянское восстание, разгрома польского восстания, бесшешеного натиска реакции и резкого поправения господствующих классов.

«Отрывок из дневника» начинается с описания Петербурга. Серые тона в пейзаже столицы Российской империи указывают на мрачный колорит русской общественной жизни изображаемого периода. Действительно, во второй половине 1863 г. газеты ежедневно сообщали о победах царских войск в Польше, о казнях «польских мятежников» и русских участников восстания. 4 июня в Люблине был казнен военный министр революционного правительства Леон Франковский, 15 июня в Вильно — Сигизмунд Сераковский. А в самом Петербурге продолжались аресты революционеров и их вождь, Чернышевский, дожидаясь в Петропавловской крепости предрепшенного приговора. «Патриотическим остервенением» назвал Герцен в статье «Виселицы и журналы» разгул реакции в 1863 г. В прокламации «Земли и воли» («Свобода», № 2) говорилось о репрессиях в России: тюрьмах и ссылках, плетях и палках, жандармах и шпионах.

Об этом же в зэповой форме — в отдельных эпизодах, диалогах, сценах, как будто бы не связанных между собою, — хотел сказать читателям «Современника» Слепцов. Автор «Отрывка из дневника» прежде всего выбирает соответствующее место для наблюдения: на набережной Невы у Академии художеств, на площадке между сфинксами. Отсюда хорошо виден весь официально-парадный казенный Петербург, видны обиталища самодержавной власти, гражданской, военной, полицейской и духовной: здание Сената и Синода, «мрачная фигура Исаакия», Адмиралтейство, Дворцовый мост с полицейскими будками и Зимний дворец. Автор не может назвать все эти элементы петербургского «пейзажа» своими именами; ему приходится делать замены; вместо Зимний дворец — «какой-то зеленоватый туман, что-то тусклое и холодное». Зимний дворец красили в ту пору в зеленый цвет, полицейские чиновники носили темно-зеленого цвета мундиры, шаровары, шапки. Слепцов выдержал этот «колорит» и в других фрагментах «Дневника». Слуги в ресторане носят зеленые фартуки: «Непременно немцы и непременно в зеленых» (здесь, возможно, намек и на придворных «лакеев» — немцев, о которых много писал Герцен).

Другой преобладающий тон в слепцовских описаниях чиновно-полицейского Петербурга — серый («серое утро», «серая громада домов, накрытая сверху серыми туманами»). Это цвет одежды «нижних полицейских служителей».

С места наблюдения, избранного автором «дневника», виден и Петербург простого рабочего люда: по ту сторону Невы — корабельные доки; на этой стороне, направо за мостом (Николаевским) — пристани, к которым причаливают рыболовные суда, подходят лодки. Рано утром можно было наблюдать здесь тружеников Петербурга, рабочих, матросов, рыбаков, перевозчиков. Весьма лаконично, лишь отдельными штрихами («сонные люди», «хриплые голоса», «скорчившись спали») дается Слепцовым картина их тяжелого существования. Из других фрагментов читатель присоединит к этому еще впечатление об извозчике, пришедшем из деревни на заработки, о нищем, который поет для увеселения господ «сладострастный романс» у окон ресторанов, о пожарном (солдате), рискующем своей жизнью за бесценнок.

Автор «дневника» — человек демократических убеждений — чувствует себя в самодержавно-полицейском Петербурге в положении «высеченного школьника» или ссыльного («и вдруг мне пришло в голову: отчего это человек только тогда считает себя ссыльным, когда его куда-нибудь сошлют?»). Он испытывает «бессильную злобу» против обстоятельств, которые дают ощущение скованности, мешают «делу» политического развития, душат желание свободы. Это дано как настроения, характерные для широких кругов демократической интеллигенции поры реакции. Вспомним рассуждения Чернышевского (в статье «Не начало ли перемены?») о петербургских жителях: недовольные «петербургским климатом» они ждут первой возможности уйти из-под власти этого врага, уехать куда-нибудь и — не могут сделать этого в силу привычки. Думается, что именно этот комплекс противоборствующих сил — поиски новых путей освободительной борьбы и скованность этих стремлений в обстановке реакции — выражен в начале «Отрывка из дневника» («отчего я не еду <...> Сбираюсь каждый день, проклиная и себя, и этот город, и все-таки остаюсь») и в рассуждении о положении человека, который хочет заново «родиться» и не в состоянии сделать этого («Лежу иной раз, и вдруг начинаю представляться, что будто я рожусь (будучи взрослым человеком, рожусь)! Хочу, хочу родиться и никак будто не могу; да так и остаюсь в этакое положение»).

В некоторых фрагментах «дневника» имеются намеки на усилившуюся борьбу правительства с революционерами, на развернутую агентурную сеть III Отделения: шпион в кафе («румянец такой, как будто его только что били по щекам»), парикмахер, ведущий с клиентами провокационные разговоры. Слепцов намекает на гражданские казни, ссылки, экзекуции («присутствуешь, например, при каком-нибудь до бешенства возмущающем зрелище...»). В «Колоколе» 1 января 1863 г. была напечатана статья «Третье отделение сечет», в которой пострадавший рассказывал, как допросы, «отговоские увещания» жандармского полковника, угрозы «сменились розгами». Именно на подобные типичные факты в «либеральной» России Александра II указывает автор «дневника» в следующем диалоге: «— ... Не спорь с отцом! — Хочу спорить. — Проси прощенья! — Не хочу просить прощенья. — Скажи, виноват! — Не виноват. — А где он, прутик-то у нас? — Виноват».

Не прошел автор «дневника» и мимо темы «измен либерализма» (В. И. Ленин), столь характерной для русской политической действительности 1863—1864 гг. В условиях резкого обострения классовой борьбы в стране среди русских либералов произошел резкий сдвиг вправо: от бывлой оппозиционной фразы к фактическому примирению с царизмом.

В «Отрывке из дневника» деятелем, персонифицирующим тему «измен либерализма», представлен хозяин некоего семейства. Он «всё пел», т. е. говорил либеральные фразы. Когда же перед ним встал вопрос — пострадать ли за свой либерализм или же отказаться от него и пойти на сделку с правительством, то он предпочел последнее («Я ему говорю: Вы что желаете, чтобы вас за волосы таскали или тысячу целковых? — Конечно, — говорят, — тысячу целковых: у меня дети»).

Подлинно трагически звучат в «Отрывке из дневника» темы бессилия, пассивности общества, не только не способного остановить натиск реакции, но и смиряющегося пе-

ред этим натиском со «спокойствием чугунной тумбы». В двух сценах «избиений» — «свиньи» и «женщины» — Слепцов с подлинно щедринской беспощадностью бичует психологию и практику социального зла. В сцене встречи с «гвардией» автор «дневника» затрагивает одну из важнейших тем революционно-демократической литературы. Это тема силы и бессилия народа: потенциальной «страшной силы в массе людей, собранных вместе, когда эта масса спокойно движется к одной какой-нибудь цели» и бессилия народа, неспособного еще на данном этапе, в данной ситуации, осознать собственную мощь и направить ее против своих угнетателей.

Непробужденность народа вызывает у автора «дневника» чувство досады, когда «угнетенный, за которого ты вступился, первый бежит от тебя и от твоего заступничества». Под его пером возникает мрачная картина общественного застоя: «Ни тепло, ни холодно греет чухонское солнце, ни тихо, ни скоро идут какие-то пресные вечные будни...» Звучат ноты скептицизма: «Какая же тут борьба? Для чего же всё это? Для потехи зевак? — Борьба во имя справедливости? — Которой это? Ведь их много. — А вечное солнце правды? — Гм! Да где ж оно, у чёрта на рогах? И почему я знаю, взойдет оно когда-нибудь, или нет. Что-то не похоже».

В завершающей фельетон «программе для оратории», под заглавием «Пустыня», Слепцов в аллегорической форме излагает историю последнего десятилетия в жизни русского общества. «Ураган», свирепствовавший в «бесплодной нубийской степи», — это, очевидно, режим крайней реакции николаевского царствования; «удар грома», от которого «все замерло», — катастрофа Крымской войны и смерть Николая I; «благодатный дождь», превратившийся, однако, в неуправляемый свирепый поток, от которого «все рушится», — напор демократических сил страны, отбитый самодержавием и сменившийся разрушительным контрнаступлением реакции. Заключительные слова аллегории — «Восходящее солнце освещает грязь» — передают итоговую оценку Слепцовым реформаторской деятельности правительства к середине шестидесятых годов.

Настроения скептицизма в «Отрывке из дневника» дают возможность непосредственно ощутить, как тяжело переживал Слепцов реакцию и трагедию пассивности народа и общества. Но, как и другие революционные демократы, Слепцов не прекращал своего участия в освободительной борьбе. Он глубоко верил в неизбежность гибели существовавшего несправедливого строя. Среди иносказательных эзоповских образов «Отрывка из дневника» имеется образ разрушающегося «дома», в разных местах которого «уже сделались порядочные щели». И хотя «дом», возможно, еще постоит какое-то время, однако он обречен на гибель, потому что «худо выстроен» и «стены в нем «неверно выведены». Через год в повести «Трудное время» Слепцов вернулся к этому иносказанию, описав «дом» Щетинина, в котором «заметны были свежие следы недавней реформы», но который тем не менее «сжечь можно, но перделывать нельзя».

ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА

Июнь 1863

Вот уж другой месяц живу в Петербурге и никак понять не могу, — отчего я не еду. Дел у меня здесь никаких нет, скука смертная, а не еду. Собираюсь каждый день, проклиная и себя, и этот город, и все-таки остаюсь. Нет, есть в нем что-то неодолимо влекущее, что-то отвратительно-прекрасное. Бывают такие случаи: присуствуешь, например, при каком-нибудь до бешенства возмущающем зрелище. Холодный пот выступает на всем теле, ужас и негодование сжимают сердце, кажется, вот, зажурился и бежал бы, бежал... а тут что-то стиснуло тебе мозг и шепчет: смотри! смотри! смотри!.. Я думал сначала, что это только первое впечатление, но теперь вижу, что чем дальше, тем хуже. Да. Станный город! Я не знаю места в России, где бы можно было так живо представить себя в положении только что высеченного школьника, в бессильной злобе грызущего ногти.

На днях шел я по набережной Васильевского острова, мимо Академии. В это время уж светало; начиналось бледное, сырое утро. На Неве разводили мост. Я остановился на площадке, между сфинксами, и посмотрел кругом. Вправо, за мостом, шипел пароход; сонные люди, в вязанных куртках, возились на судах, подымали якоря и перекликались хриплыми голосами на каком-то морском наречии. У пристани перевозчики скорчившись спали в своих лодках. В воздухе пахло сыростию и каменным углем. Прямо передо мною, по ту сторону реки, стояла серая громада домов, накрытая сверху серыми тучами. Влево опять тоже сплошная масса, Адмиралтейство и мрачная фигура Исаакия. Дальше чуть-чуть виднелся дворцовый мост со своими неуклюжими будочками на середине; а там какой то зеленоватый туман, что-то тусклое и холодное. Тучи стали всё гуще и гуще заволакивать восток... и вдруг мне пришло в голову: отчего это человек только тогда считает себя ссыльным, когда его куда-нибудь сошлют?

Я плюнул в воду и пошел дальше.

Чем больше я всматриваюсь во все окружающее, чем больше я думаю, тем чаще прихожу к убеждению, что здесь творятся какие-то ужасные глупости. Здесь просто в воздухе носится что-то одуряющее. Я по себе даже замечаю. Мысли всё какие-то глупые начинают приходиться в голову, и не смешные, и не печальные, а просто глупые. Лежу иной раз, и вдруг начинает представляться, что будто я рожусь (будучи взрослым человеком, рожусь)! Хочу, хочу родиться и никак будто не могу; да так и остаюсь в таком положении. А то кажется мне, что я всё письма какие-то получаю. Думаю: вот, вот сейчас принесут письмо, распечатаю его, а в нем написано:— *трала*. Что такое — трала? Какая глупость!..

Ходил по улицам. Куда они бегут, торопятся? Что за поспешность такая? Куда они бегут? И ведь всё вздор. Смотрят друг на друга и думают: ишь ты, как я закатываю! Шумно на Невском; только шум какой-то однообразный, точно на мельнице, так что можно спать. Зашел в ресторан. Сидят, читают газеты, кофе пьют, молчат. Серьезные бледные лица, несочного цвета. А то вдруг румянец такой, как будто его только что били по щекам. Прислуга — немцы в зеленых фартуках. Непременно немцы и непременно в зеленых. Тихо, шелестят газеты, дым бродит по комнате, мальчик несет чашку бульона. А на улице солнце светит, ходят люди и нищий поет сладострастный романс.

Намедни говорит мне парикмахер: *Monsieur voudrait'il que je le coiffe à-la-malcontent*?* Я говорю, что не нужно. Он немного помолчал и сказал: *Oh! La république,— s'est un grrrand mal, monsieur***. А потом вдруг объявляет по секрету:— *J'ai une délicieuse cravate pour monsieur; une cravate, qui vient tout droit de Paris****.— Да, чёт тебя возьми! Надо быть осторожным.

Познакомился с одним семейством. Хозяин всё пел. Я ему говорю: Вы что желаете, чтобы вас за волосы таскали или тысячу целковых?— Конечно,— говорит, — тысячу целковых: у меня дети.— Вот то-то и есть. После этого он перестал при мне петь. Они вообще этого не любят. Это я заметил.

Вот я еще заметил: действительно здесь безнравственный народ.

А вчера мне сказала прачка: На этот счет (на счет нравственности) здешний город куды как худо выстроен. Здесь девушки не стараются, чтобы об них хороший разговор иметь. Ну, впрочем, и Москва тоже.— Где же стараются?— В Туле.

* Не угодно ли господину, чтобы я причесал его под недовольного? (так называлась у французов короткая стрижка. Сленцов обыгрывает буквальный смысл слова «недовольный»).

** О! Республика — это большое несчастье, сударь (*франц.*).

*** У меня есть для господина прелестный галстук, только что из Парижа (*франц.*).



ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА. ОТКЛИК НА ПЕРЕДАЧУ ЦЕНЗУРЫ ИЗ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Написана на обороте:

«— Александр, как ты думаешь, за что эту девочку ведут в полицию? Посмотри, она еще едва лепечет...
— Вероятно, на счёте, чтобы покарать за какую-нибудь шалость, а может быть и предупредить, чтобы нравственность не портилась.
— Да разве полиция может руководить нравственностью?»

Рисунок неизвестного художника. Предназначался для журнала «Гудок», 1862 г.

Цубличная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Шел по Конногвардейскому бульвару и думал: если на меня нападут разбойники, возьмут за горло и скажут: давай деньги, а то вот видишь, топор!— Я, разумеется, отдам деньги. Что это, жертва будет или нет!? Или если дом загорится, а я буду в то время в гостях. Узнаю, прибегаю.— Батюшки! Попугай у меня там в клетке сидит. Спасите! Один пожарный говорит: пожалуйста десять рублей— вытащу. И вытащит, и я ему должен отдать десять рублей. Что это, я жертву принесу или нет? Само собой разумеется. А пожарный жертвовал или нет?— Жертвовал жизнью. Что она ему стоит? Десять рублей. А я жертвовал жизнью пожарного для спасения попугая, стало быть, я скотина. Когда я это думал, мимо меня прошел татарин и сказал: полковник, купи халат.

Видел такую сцену: сидел отец на скамейке, а сын играл. Отец говорит сыну: Петька, ты что балуешься?— Я не балуюсь.— Не спорь с отцом!— Хочу спорить.— Проси прощенья!— Не хочу просить прощенья.— Скажи, виноват!— Не виноват.— А где он, прутик-то у нас?— Виноват.

Июль

Какая у них страсть к зрелищам всякого рода, просто невероятно. Что хочешь покажи, будут смотреть. На днях я присутствовал при одном зрелище. Проходя по Невскому, вижу, что на углу Большой Морской собралась огромная толпа и загродила почти всю улицу. Я пробрался посмотреть, что там такое. Стоит среди улицы свинья, один человек держит ее за ухо, а другой за хвост и тянут; свинья нейдет, визжит на всю улицу; наконец легла. Народ смотрит. Извозчики сидят на дрожках, хохочут. Один извозчик не выдержал, подбежал и начал ее кнутом нажаривать: лежит свинья. Другой увлекся его примером, и принялись они ее в два кнута учить: лежит. Пришли дворники с лопатами и стали ее подымать: всю щетину выдергали из спины и уши до крови оборвали: не встает. И ведь в самом деле любопытно видеть такой образец гражданского мужества и в ком же?— в свинье! При этом невольно возникает вопрос: какое побуждение руководило поступками этого животного и принуждало его идти наперекор приличиям и правилам общественного благоустройства? Что за причина, заставляющая его с таким самоотвержением переносить побои и оскорбления? Пока я задавал себе эти вопросы и тщетно искал на них ответа, публики уже собралось так много, что полиция должна была принять свои меры: городовые стали разгонять народ, но эта мера ни к чему не повела; зрители всё прибывали и прибывали до такой степени, что проход по улице сделался невозможным. Из экипажей тоже выходили любопытные и присоединялись к толпе, красиво одетые дамы, стоя в колясках, смотрели в лорнетки и с живейшим участием следили за поступками неукротимой свиньи. Городовые между тем бросились к легковому извозчику и хотели заставить его положить свинью на пролетку, но извозчик ускакал; бросились к другому. Привезли откуда-то тележку и стали опять свинью подымать: визжит свинья на всю улицу, публика радуется, некоторые подают советы, как следует поступить, другие опровергают, публика мало-помалу распадается на два враждебные лагеря: одни говорят, что нужно дать свинье отлежаться и потом вдруг неожиданно принять ее в три кнута, другие же советуют ни мало не медля принести из ближайшего дому жару и побудить упорное животное огнем. Вдруг кто-то не выдержал, бросился к свинье и с страшным ожесточением начал колотить ее палкою...

В тот же день поздно вечером мне пришлось самому участвовать в одной сцене и тоже с побоями; но на этот раз били уж не свинью, а женщину. Зрелище это привлекло также довольно многочисленную публику, впрочем, все-таки народу собралось несравненно меньше, нежели днем. Дело было вот как: часу в двенадцатом ночи шел я по Вознесенскому проспекту,

вдруг слышу страшный крик; я побежал и вижу, на тротуаре стоит женщина, прижавшись спиной к стене. Перед нею стоит мужчина и бьет ее по лицу: она только покачивается из стороны в сторону. Я схватил его за шиворот и закричал: Эй! городской, возьми его! Женщина еще пуще стала кричать: Батюшки! не берите его! — Да ведь он бил тебя! — Нет, не бил. Я с ним шла, а вот этот (т. е. я-то) пристал и начал его бить, весь скюртук ему изорвал... Тут уж пошла такая ерунда, что я насилу мог выпутаться. — Что ты за человек? Зачем ты вступался? Тебе какое дело?.. кричали на меня со всех сторон. — За эдакую шкуру вступаться? Не стыдно это вам? — услащивал меня городской.

Чуть-чуть было не попал я в часть.

По поводу этой рыцарской выходки вспомнил я еще об одном случае, где я тоже вступился за слабого и тоже попал в дурацкое положение. Раз тоже вступился я за извозчика, которому какой-то барин не хотел отдавать денег. Извозчик плачет, а барин притворился пьяным. Я пошел за городовым, а одного из прохожих попросил барина придержать. Привожу городского, а уж тут порядочная толпа собралась.

— Где же извозчик? — Ускакал.

И ведь как все обрадовались!.. Смеху тут что было. Ну, барин с меня за *бесчестие* и взял три целковых.

Мне больше всего нравится в жителях этого города — спокойствие, с которым может сравниться только разве спокойствие чугунной тумбы. Это качество придает здешним людям почти олимпийское величие. Человек ходит, крадет, служит, любит, губит себя и других и в то же время остается совершенно спокойным, почти неподвижным; как будто все это делает даже не он сам, а кто-то другой, он же только наблюдает и одобряет: Так, хорошо. Теперь высморкай нос! Так. Поцелуй у маменьки ручку!..

Один благородный отец, имевший привычку перевирать свои роли, однажды вышел на сцену и, обращаясь к публике, сказал: Ключи заперты, двери в кармане, теперь я спокоен. Публика покатила со смеху, актер вылуя глаза стоял у рампы и никак не мог понять, что ж тут смешного.

Само собою разумеется, что человеку, который может оставаться спокойным в то время, когда у него двери в кармане, решительно непонятен смех. Выше этого спокойствия нет и быть не может. Предание говорит, что камни вопияли, что огромные башни, пораженные человеческими преступлениями, шатались в своих основаниях и погребали под собою злочестивых, а петербургский житель остается неподвижным. В этом спокойствии есть что-то в высшей степени трагическое. Какое-то страшное безумие слышится в нем. Мне всё представляется сумасшедший в бумажной короне, с гордым величием сидящий на койке...

На днях как-то заметил я, что у меня в квартире пол расходится и в разных местах уже сделались порядочные щели. Я послал за управляющим. Он посмотрел и говорит: Ничего-с. Это я велю поправить. Тут надо только рейки загнать. — Хорошо. Ну, а если опять сделаются щели? — Тогда я опять велю новые рейки загнать. — Так вы это всегда рейки загоняете? — Всегда-с. — Да вы знаете отчего пол расходится? — Как же-с. Стены неверно выведены, дом и садится. Худо выстроен-с. — Стало быть, он может развалиться! — Нет, еще постоит-с.

Август

Какая, однако, страшная сила в массе людей, собранных вместе, когда эта масса спокойно движется к одной какой-нибудь цели! Вчера встретил я гвардию: она возвращалась откуда-то с музыкою и распущенными знаменами. Я покупал у разносчика лимоны и заговорился, вдруг слышу какой-то гул... гляжу, прямо на меня движется стена со штыками, конскими хвостами и великаном впереди. По бокам толпы народа. Великан

взмахнул булавою, и грянул оглушительный гром барабанов. Я попятился назад и разорнял лимоны. А толпа всё растёт, всё растёт. Даже тупые лица прохожих как будто оживились какою-то телячьей отвагой. Нет, как хотите, а в движении организованной массы есть что-то фатальное. Смотришь и думаешь: Вот я иду, вот иду и все идут, тяжело ступая ногами, правая, левая, правая, левая, трубы ревут, народ раздаётся, а <шум?> все растёт, все растёт; гром барабана — это наши шаги раздаются. Вон как мы разъехались во всю улицу! Это все наше тело, наши штыки; захотим и раздавим вас всех, как букашек... Но мы не хотим вас давить, мы вас милуем. Чёрт с вами, живите!..

Прошли. Всё дальше и глуше гудят барабаны, затихли... Не дурно. Зато какое тяжелое чувство, чувство одиночества овладело всеми, кто здесь остался. Как отвратительно пошлы вдруг кажутся эти дребезжащие звуки будничной жизни после грозного ритма шагов; как болезненно-тусклы бесцветные лица после блеска металла и конских хвостов; как робки и жалки движения этих людей!..

Разносчики! Если б вы знали, как мне противно ваше штатское бляение: «Хорошо морожено!» О, глупые бараны!

Ни тепло, ни холодно греет чухонское солнце, ни тихо, ни скоро идут какие-то пресные вечные будни. То там, то сям бродят люди, и здесь и там в спокойном безмолвии стоят часовые, и, как часовые, сменяясь, бесстрастно проходят дни, недели, месяцы, годы.

Видны мне крыши домов, трубы, мосты и бесцветное, тусклое небо. Гляжу я в окно и всё думаю: «Ну, хорошо. Положим, что все это кончится, скоро померкнет чухонское солнце и в вечном блеске взойдет солнце правды. Да ведь жить-то хочу я *теперь*. — Надежда, а до тех пор борьба. — Ха, ха, ха, ха! Да ведь зло-то в глаза смеется тебе, а угнетенный, за которого ты вступился, первый бежит от тебя и от твоего заступничества!.. Какая же тут борьба? Для чего же всё это? Для потехи зевак? — Борьба во имя справедливости? — Которой это? Ведь их много. — А вечное солнце правды? — Гм! Да где ж оно, у чёрта на рогах? И почему я знаю, взойдет оно когда-нибудь или нет. Что-то не похоже».

Сентябрь

Сочинил программу для оратории, под заглавием:

Пустыня

«В бесплодной нубийской степи свирепствует ураган. Утомленные зноем и жаждою путники безропотно предаются воле божией и ожидают смерти. Песчаные вихри крутятся над ними и мало-помалу засыпают их. Небо красно-бурого цвета. Сквозь рев урагана едва слышны жалобные стоны умирающего верблюда... Вдруг удар грома! Все замерло... Опять удар, и благодатный дождь полился на землю. Палящий зной спадает. Путники ожили и поют хвалебный гимн небесам. Слышна тихая мелодия. Вопли отчаяния забыты, неистовая радость заменила их. А дождь между тем продолжается. Свистящие струи с шумом низвергаются на землю, все сильнее и сильнее и, наконец, превращаются в неудержимый поток. Хвалебные гимны утихают. Свирепые волны с ревом несутся по степи, все рушится, путники, по горло в воде, поднимают руки к небу, но опрокинутые потоком падают и утопают... Пауза.

Утро. Буря утихла. Восходящее солнце освещает грязь».

Октябрь

Я теперь к такому заключению пришел, что порядочный человек должен плюнуть на все это и, не теряя ни одной минуты, — вон. Что я с своей стороны и не замедлю исполнить.

<1864 г.>